

Николай Анастасьев

В зеркалах

*Из записок «хорошего патриота»,
которые можно считать PS к очеркам частной жизни в Америке¹*

Ирине, Алёше, Оле, Анюте

«Гёте никогда не был плохим патриотом, хотя он и не сочинял в 1813 году национальных гимнов. Любовь к человечеству он ставил выше любви к Германии, а ведь он знал и любил ее как никто другой. Гёте был гражданином и патриотом в интернациональном мире мысли, внутренней свободы, интеллектуальной совести, и в лучшие свои мгновения он воспарял на такую высоту, откуда судьбы народов виделись ему не в их обособленности, а только в подчиненности мировому целому».

Герман Гессе. «Друзья не надо этих звуков!»

«Никакой особой миссии у России нет и не было!..

Не надо искать никакую национальную идею, это мираж. Жизнь на национальной идее неизбежно приведет сначала к ограничениям, а потом возникнет нетерпимость к другой расе, к другому народу, к другой религии. Нетерпимость же обязательно приведет к террору.

...Каждый должен воспитывать в себе гражданина мира, независимо от того, в каком полушарии он живет, какого цвета его кожа и какого он вероисповедания».

Д.С.Лихачёв. «Я вспоминаю»

1

По мере того как в России уверенно набирает силу и вес государство с его естественными имперскими амбициями, я все чаще оглядываюсь на Америку, стараясь понять, отчего у нас Левиафан пространство частной жизни хищно и успешно пожирает, а у них — нет, хочет — да не получается. Амбиций, что ли, меньше?

Больше.

Анастасьев Николай Аркадьевич — доктор филологических наук, профессор, американист, автор книг «Американцы», «Зазеркалье. Книга об Америке и ее литературе», монографий о творчестве У. Фолкнера, Э. Хемингуэя, В. Набокова и многочисленных статей об американской и западноевропейских литературах.

¹ «Дружба народов», 2019, №№1—2.

С тех самых пор как пятый президент США Джеймс Монро в своем послании конгрессу от 2 декабря 1823 года провозгласил доктрину, названную впоследствии его именем, страна только и знает что расширять свое присутствие в мировой ойкумене. Начали скромно, заявив о невмешательстве в европейские дела взамен на суверенное право ведения дел в Западном полушарии — негоже, мол, нам плыть в утлой лодчонке в кильватере британского крейсера, — но затем постепенно от любых оговорок отказывались, расправляя плечи так, как Монро и не помышлял. Сначала присоединение Техаса и Калифорнии, затем Панамский канал и в конце концов зоной американских интересов сделался весь мир. Куда там Римской империи и даже «старому дому» — империи Британской. Впрочем, все это геополитика, в которой, как предупреждал ранее, не разбираюсь и о которой не говорю. Куда больше политики меня задевает и смущает психология. По ходу столетий боговдохновенный и бескорыстный строитель Нового Света — пилигрим, затем первопроходец-пионер, воспетый Фенимором Купером и Уолтом Уитменом, наконец, трудолюбивый работник-янки, который не то чтобы презрел идеалы американских зорь, но озаботился тем, чтобы они обрели четкое материальное основание, превратился в мессию или, как говорится в детской игре, Хозяина горы. Положим, здравомыслящие и не лишённые чувства юмора американцы и сами склонны посмеиваться над своими амбициями. Есть у меня в Америке давний добрый товарищ — профессор славистики в Йельском университете. От политики он так же далек, как и я, и толкуем мы обычно то ли о сугубо профессиональных предметах, то ли о сравнительных достоинствах индейки на День благодарения и блинов на Масленицу, то ли о теннисе, которым оба смолоду увлекались. Но очередной разговор случился едва ли не на другой день после бомбежки Белграда и исторического разворота Примакова над Атлантикой, так что волей-неволей нас затянуло в воды, где мы разве что барахтаться способны. Надо сказать, что поведение собственных властей не просто смутило — возмутило моего товарища даже больше, чем меня.

— Так какого же черта вы туда полезли? — резонно, как мне показалось, осведомился я.

— Ну, ты же нас знаешь, — помолчав немного, хмыкнул мой собеседник, — нам всех обязательно учить надо.

Личные местоимения — свидетельство убедительное. Можно сколько угодно иронизировать над собой (что вообще-то чрезвычайно похвально и симпатично), но «мы» — это всегда «мы», и ничего с этим не поделаешь. Подозреваю, что и политика не столько навязывает себя и отравляет психологию, или, если угодно, коллективное бессознательное Америки, сколько растет из него и на него же опирается.

Словом, с претензиями на мессианскую роль в мире все ясно.

Так может, патриотов в Америке меньше, чем в России, и само это чувство (каковое, скажу, забегая сильно вперед, вовсе не кажется мне таким уж благотворным) там слабее выражено?

Больше. Сильнее.

Положим, после того как президент Путин объявил патриотизм давно взыскуемой национальной идеей России, этого, по убеждению академика Лихачева, миража, пропаганда оной (оного) приобрела поистине раблезианские масштабы и порой абсурдные формы — что, в общем-то, и побудило продолжить прошлогодние заметки, — но об этом дальше, а пока про Америку.

Американец, как выразился один из видных историков, кажется, Ф. Карпентер, это не американец, если он не патриот. И точно — клятву верности не открытой еще, собственно, стране принесли устами своего лидера Уильяма Брэдфорда уже самые первые поселенцы — пассажиры легендарного шлюпа «Мэйфлауэр», рано осознавшие провиденциальную суть своей миссии: «Так из самых малых начинаний сотворятся вещи более крупные — Его Руцей, что сотворила все из ничего и вдохнула жизнь во все

сущее; так, подобно тому как от малой свечи могут загореться тысячи свечей, огонек, что возжегся здесь, у нас, осветит путь многим». Затем прозвучали слова клятвы еще более торжественной и обязывающей: «Мы должны осознать, что будем подобны Граду на Холме, на нас будут обращены взгляды людей всего мира...» Сейчас у нас принято ернически посмеиваться над самим образом Града на Холме, и это нехорошо и недостойно. Да, сложенный на борту шхуны «Леди Арабелла» — ближайшей наследницы «Майского цветка» — сорокадвухлетним Джоном Уинтропом (сыном преуспевающего землевладельца из графства Саффолк), сделавшимся видным лондонским юристом, а потом вдохновенным проповедником-пуританином, этот молитвенный гимн в чреде поколений утратил первоначальную чистоту и свежесть и, более того, стал использоваться, и используется поныне, как прикрытие весьма неблагоприятных порой дел. Что правда, то правда. Но ведь когда-то это была вера святая и бескорыстная, и она по-прежнему питает все то же коллективное бессознательное нации.

По прошествии примерно двух столетий «свеча», или, может, точнее сказать «светильник», и «Град на Холме» пережили очередное превращение и сделались «явным предначертанием» (Manifest Destiny). Это сочетание ввел в оборот влиятельный журналист Джон О'Салливан, и поначалу оно — в русле доктрины Монро — оправдывало чисто территориальные притязания США на Техас, затем на Орегон, Аризону и Калифорнию — причем все должно было решаться полюбовно, и, скажем, против войны с Мексикой О'Салливан выступал едва ли не с той же страстью, что и лесной житель Генри Торо — миротворец, отторгавший любые формы государственного насилия, да и вообще государство как таковое («лучшее правительство это то, что не правит»). Но потом «явное предначертание» стало толковаться в расширительном смысле и, пожалуй, зерно будущего роста содержалось уже в первой редакции:

«Соединенные Штаты, — писал пылкий журналист, — имеют право претендовать на весь Орегон, и эта претензия вытекает из нашего явного предначертания распространяться и овладевать всем континентом, заповедованного Провидением для осуществления великого эксперимента по утверждению свободы и федерального самоуправления».

Таким образом, доктрина Монро отчетливо переключается с идеей строительства «Града на Холме».

А патриотизм неустанно ищет и находит все новые формы выражения.

В 1892 году христианский социалист Фрэнсис Беллами написал по заказу журнала «Спутник молодежи» Клятву верности флагу (Pledge of Allegiance), которую с тех пор, стало быть, уже почти 130 лет, произносят перед началом занятий, прижав правую руку к сердцу и устремив взгляд на звезды и полосы, американские школьники: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и Республике, которую он символизирует, нации, по Божьему промыслу, неделимой, дарующей свободу и справедливость всем и каждому».

В 1943 году Верховный суд США усмотрел в тексте Клятвы нарушение Первой поправки к Конституции страны, запрещающей государственное вмешательство в дела религии, но уже установившуюся традицию это решение не пресекло, клятву произносят как встарь, хотя везде по-своему: например, в Техасе клянутся в верности не только национальному флагу, но и флагу Одинокой звезды, в школах штата Миссури ритуал совершается раз в неделю, в Миссисипи раз в месяц. К слову сказать, до сих пор помню, как поразило это действие моего четырнадцатилетнего тогда сына, который приехал ко мне в гости в Оксфорд, где я в ту пору преподавал в местном университете Ole Miss. Здешние школьники пригласили нас, и встреча состоялась как раз в тот сакральный день произнесения клятвы (внучка, наверное, уже не удивилась бы — как выяснилось, теперь и в наших школах учебный год начинается с «урока

патриотического воспитания»; выходит, не отстаем, а то и опережаем, причем значительно: у них на патриотизм минута-другая, у нас — все сорок пять).

Словом, все как будто сходится: они империя, и мы империя, только с куда более продолжительной родословной, мы патриоты и они патриоты, только куда более твердые в своей вере. Посмотри на себя в зеркало — и увидишь американца, так что даже непонятно, чем питается эта ненависть к Америке, что с таким упорством культивируется сейчас в наших краях. Мазохизм какой-то.

И все же, если задуматься, парадокса никакого нет, ибо как раз тут, в момент кажущегося сближения, а то и слияния, черты зеркального отражения размываются, и стекло идет трещинами. А может, как раз наоборот: не размываются, но застывают, и трещин никаких нет, ведь зеркало — это не просто отражение, это отражение противоположности.

Считается, что Америка, если это и не колыбель демократии (колыбель все же — Афины времен Перикла), то уж во всяком случае — ее законная наследница и продолжательница дела. Но ведь это не так, и, в отличие от будущих доброжелателей и недоброжелателей со стороны, первопроходцы светочами демократии себя вовсе не считали, хотя некоторое лукавство в их речах и лозунгах было. Едва «Майский цветок» после тяжелого восьминедельного трансатлантического перехода бросил якорь у Трескового мыса — так называлось это место на лоции пилигримов, — как пассажиры подписали составленный их вожаком Уильямом Брэдфордом Договор (Mayflower Compact), начинавшийся такими словами: «Во имя Бога, аминь. Мы, нижеподписавшиеся, законопослушные подданные нашего грозного суверена, Божьей милостью короля Великобритании, Франции и Ирландии, Защитника веры Иаковлевой <...> договорились образовать гражданско-политический союз (civil body politic) и в соответствии с этим выработать и принять в духе равенства и справедливости такие законы, постановления и акты, которые наилучшим образом послужат общему благу колонии».

Пройдут годы, и Договор прорастет важнейшими «постановлениями и актами», включая Декларацию Независимости и Конституцию США. Но то когда еще будет, а в стартовые, даже предстартовые мгновенья строительства нового дома в его основании образовалась и в первое время неуклонно расширялась трещина: с одной стороны — грозный суверен, то есть автократия, с другой — равенство, справедливость и основанные на этих принципах законы, то есть, демократия. С одной стороны — законопослушные граждане, подданные монарха, являющегося главой англиканской церкви, с другой — диссиденты, стремящиеся выстроить такую религиозную систему, которая во многих своих чертах прямо противоречит заветам и установлениям этой церкви. Можно сказать, первое столетие американской истории — это укрепление теократии, всячески подавлявшей ростки демократии. Борьба принимала более или менее мирные, а порой и кровавые формы — вроде охоты на ведьм, сотрясавшей Новую Англию в конце XVII века. Джон Уинтроп, чьим именем названы ныне в Америке города, а бронзовая статуя установлена рядом с построенной им же первой (и в ту пору единственной в колонии Massachusetts Bay) церковью, этот новоанглийский Моисей, высказывался недвусмысленно: «Демократия <...> представляет собой самую гнусную, наихудшую форму правления, она прямо противоречит Пятой заповеди». Ему вторит, правда, далеко не столь воинственно, другой духовный лидер Новой Англии середины XVII века, настоятель той же первой церкви Джон Коттон: «Если управляют все, кто же будет управляемым?»

Какая уж тут демократия! И какая мощная опора для благородного гнева тех наших витий, что, не жалея голосовых связок, уличают Америку в самозванстве.

Что ж, действительно, для того чтобы избавиться от тысячелетнего феодального наследия Европы и, причалив к новому берегу, наутро проснуться человеком, внутренне свободным от прежних уз и предрассудков, пересечь океан недостаточно.

Для этого недостаточно даже и деклараций, облеченных в форму документа — Завета. Тем более что, как мы видели, изначально и цели такой не было.

Иное дело, что пробежать дистанцию, отделяющую свободу от несвободы, Америке удалось в сроки, какие Старому Свету даже не снились.

Как это получилось?

Тут вступают в силу другие резоны, физика (подлинные, поддающиеся четкой реконструкции события, даты и т.д.) довлеет метафизике.

Алексис де Токвиль, автор книги, значение которой с годами ничуть не убывает — «Демократия в Америке», — заблуждался, полагая, что принцип народовластия сделался в Америке базовым, начиная с *самых истоков*. Но он не ошибся в главном — воздух здесь такой, просторы такие, что они словно бы и впрямь, сами по себе, питают идеалы свободы и равенства.

Избранный в 1960 году тридцать пятым президентом США Джон Кеннеди попросил Роберта Фроста почтить своим присутствием и, если возможно, чтением стихов церемонию вступления в должность. Фрост приглашение принял, написал молодому президенту «Посвящение» и 21 января 1961 года вышел на трибуну перед Белым домом. Но в тот день ярко светило и било в глаза солнце, написанных только что строк 86-летний поэт не запомнил и, отложив текст в сторону, прочитал другое стихотворение, почти двадцатилетней давности. В оригинале оно называется The Gift Outright, а по-русски (в различных версиях перевода) — «Дар навсегда». Можно, конечно, и так, но по мне лучше было бы озаглавить иначе — «Природный дар». Да, разумеется, в этом случае неполиткорректное (как сейчас сказали бы) звучание стиха проявилось бы еще отчетливее, но внутреннему его смыслу оно, как мне кажется, отвечает точнее.

Владели мы страной, ей неподвластны.
Она считалась нашей сотни лет.
Мы не были ее народом, знали
Тогда Виргинию и Массачусетс,
Но были мы колонией английской,
Владели тем, что нами не владело,
Подвластны той, которой неподвластны.
Мирились с этим мы и были слабы,
Пока не поняли того, что сами
В стране своей не обрели отчизны,
И мы, отдавшись ей, нашли спасенье.
Ей отдали себя раз навсегда
(наш дар скреплен был жертвой многих жизней).
Стране огромной, звавшей нас на запад,
Еще невспаханной, незаселенной,
Такой, какой была, какою будет.

(Перевод М.Зенкевича)

И в первых строках, и в финале наконечник стрелы устремлен четко на запад. Но ведь хрестоматийно известно, что Запад в Америке это не география, но метафизика, экзистенция. Об этом Фрост и пишет: Виргиния, а следом за ней Массачусетс освоены давно, но этого недостаточно, чтобы стать американцем. Так колеблются «общие места». Принято считать, что Америка — это творение иммигрантов. Но это не так, как раз наоборот — это Америка превращает пришельца из Англии, Голландии, Германии, России, Китая, откуда угодно — в американца. Или не превращает, и тогда можно либо вернуться домой, либо остаться, так и не сделавшись американцем, пусть даже у тебя в кармане паспорт гражданина США. Впрочем, об этом я уже писал в первой части своих заметок. Да что там я, сторонний наблюдатель, сам Джеймс Траслоу Адамс, автор монументальной трехтомной истории Новой Англии, тот самый, что придумал — образ, символ, метафору? — словом, Американскую Мечту,

то ли уважительно, то ли язвительно, и уж точно провокационно заметил, что даже не все отцы-основатели могут считаться американцами, тот же Вашингтон больше англичанин, чем американец.

Вообще, избавление Нового Света от бремени зависимости от Старого Дома, как здесь называют Британию, — зависимости не просто политической, о нет, хотя это потребовало потоков крови, зависимости даже не просто культурной, но прежде всего духовной — это целая эпопея, это долгий путь со своими взлетами, падениями, зигзагами, но реконструировать его здесь нам не с руки, не про то речь, да к тому же на эту тему написаны тысячи, десятки тысяч страниц в приличествующем теме жанре научного исследования. Потому ограничусь простым и скучным тезисом (вполне отдавая себе отчет в том, что превращаю пышную сосну в хорошо отполированный столб): удаление Америки от Англии и Европы и, стало быть, обретение себя — это дорога от государственного человека к человеку частному. Условно говоря, заняла она примерно двести лет и оборвалась в тот момент, когда Ральф Уолдо Эмерсон, бесспорный интеллектуальный авторитет Америки середины XIX века, сформулировал принцип «опоры на себя» — self-reliance.

Впрочем, нет, не оборвалась, конечно, — остановки не случилось, но теперь это был уже бег по кругу. Только вот оказалось, что это бег с барьерами и преодолевать их, быть может, еще труднее, чем религиозные догматы. Во всяком случае, гражданскими актами, даже самыми прогрессивными, их не сметешь. Началась и поныне продолжается и, наверное, никогда не закончится другая борьба: уже не демократии с диктатурой, но демократического общества и демократической власти.

Соответственно, и патриотизм американский начал принимать новые сравнительно с первоначальными очертания.

Как все-таки несправедлива бывает жизнь. Действительно, в своем отечестве люди не угадывают пророков, или, во всяком случае, проходит много времени, прежде чем угадают.

Томаса Пейна сейчас вспоминают, и дома, и далеко от дома, как автора трактата «Здравый смысл» и, прежде всего, написанного в парижской тюрьме «Века разума», но в свою пору — пору Войны за независимость — он сделался знаменит... как бы определить жанр, ну, скажем, публицистическим циклом «Кризисы», сочетающим и хронику военных действий, и заметки экономиста, и даже философические рассуждения о войне. Но прежде всего — это боевой клич, призыв к борьбе за правое дело.

«Есть времена, когда испытанию подвергаются сердца человеческие. Солдаты-легковесы и чувствительные патриоты уйдут в эту годину кризиса от службы своей родине; но те, кто встанут под ее знамена, заслужат любовь и благодарность мужчин и женщин». Эти слова и сейчас стучат, как пепел Клааса, в сердца американцев, а тогда по приказу генерала Вашингтона их зачитывали перед строем воинов республиканской армии.

Можно сказать, в победоносное завершение Войны за независимость Томас Пейн внес вклад не меньший, чем генералы, полковники и рядовые — вклад именно риторический, хоть и сам воевал на передовой. «Когда-нибудь, — писал второй президент США Джон Адамс (между прочим, лично Пейна сильно недолюбливавший) президенту третьему, Томасу Джефферсону, — история по-настоящему оценит заслуги Пейна в свершении революции».

Она и оценила. Так то история. А современность ответила черной неблагодарностью.

С провозглашением независимости, чаемой им, быть может, больше, чем другими, Пейн внезапно покидает Америку. Рыцарь, трибун, солдат — кто угодно, он был решительно неспособен к повседневной черновой работе. Сражаться? Всегда, в первых рядах. Но пожинать плоды победы, строить — пусть этим занимается кто-то еще, а ему скучно. Ну, примерно, как Че Геваре на Кубе после успешного штурма

казарм Монкадо. И как Че в Боливию, он отправляется за океан — баррикады теперь поднимаются в Париже. Здесь он становится членом Конвента, хотя в работе его, естественно, прилежания не выказывает. Впрочем, в решении судьбы Людовика XVI участие принимает, и человек, при всем своем революционном нетерпении милосердный, голосует против казни монарха, после чего монтаньяры бросают его в тюрьму; и исполнения смертного приговора Пейну удастся избежать лишь благодаря вмешательству Джеймса Монро, будущего президента, а тогда посла молодой республики во Франции. В 1804 году по приглашению Джефферсона он возвращается в Америку, но прием его здесь ожидает либо холодный, либо откровенно враждебный. Отчасти это объясняется непримиримыми антиклерикальными воззрениями Пейна: «...моя церковь — мой собственный ум». Такого радикализма Америка — все еще страна пуританская — принять не могла. Но дело не только в этом. Ведь от Пейна отвернулись и его вчерашние товарищи по оружию. Даже Джефферсон, некогда близкий друг, снарядивший в память об этой дружбе целый корабль, который и доставил Пейна из Франции в Америку, отдалился от него. А когда через пять лет после возвращения домой Томас Пейн скончался, ему не только что государственных, вообще сколько-нибудь приличных похорон не устроили — на кладбище в Нью-Рошель, городке в нескольких милях к северу от Нью-Йорка, гроб с его телом пришли проводить шесть человек. Не только страна не зарыдала — даже и друзья не заплакали. Потому что их не осталось.

Что так?

А все очень просто.

Ненавистник королевской власти, Пейн с большим подозрением относился к любой форме *государственного* правления, в том числе и к республиканской. «Общество — это всегда благословение, — писал он в “Здравом смысле”, — но правительство, даже в лучшем своем виде — всего лишь неизбежное зло; в худшем же оно просто нетерпимо». А то и еще решительнее: «Долг патриота — защищать свою страну от правительства».

То есть, если переводить разговор на личности, — от Вашингтона, Джефферсона, делегатов Континентального конгресса, чьи подписи стоят под Конституцией, сенаторов, словом, от всех представителей власти.

Чего же им чествовать инсургента, тем более что он восстает против государства слабенького, государства-карлика, едва встающего на ноги, не только не имеющего, но даже отдаленно не помышляющего об имперских амбициях, которые возникнут много десятилетий спустя?

Получается, Томас Пейн, идеолог свободы, борец за свободу и независимость страны, ставшей для него родной, не патриот этой самой страны? Чего же он тогда рассуждает о «долге патриота»?

Да нет, патриот, только не в том смысле, в каком были патриотами отцы-основатели, при всем их либерализме (тот же Джефферсон говорил, что может себе представить Америку без правительства, но не может — без прессы; так ведь сам же это правительство на протяжении восьми лет и возглавлял). А в том, в каком патриотом был, ну, хотя бы Марк Твен. Есть ли художник (за вычетом, быть может, Уитмена), в чьих книгах с такой любовной полнотой запечатлелись не только пейзажи, быт, сюжеты — словом, материя американской жизни, но и ее дух? Но вот что можно прочесть в «Жизни на Миссисипи», произведении, которое наряду с «Гекльберри Финном» сделало ее автора всемирным классиком: «Лоцман в те дни был единственным ничем не стесненным представителем человеческого рода. Короли это лишь связанные по рукам и ногам слуги парламента и народа; парламента скваны цепями своей зависимости от избирателей; редактор газеты не может быть самостоятельным и должен работать одной рукой: другую его партия и подписчики подвязали ему за спину; он еще должен быть рад, если имеет возможность высказывать хотя бы половину или

две трети своих мыслей; священник тоже не свободен: он не может говорить всей правды, так как должен считаться с мнением прихода; писатели всех мастей это рабы публики: пишем-то мы откровенно, бесстрашно, но перед тем как печатать “подправляем” наши книги. Да, в самом деле, у каждого мужчины, у каждой женщины, у каждого ребенка есть хозяин, и все томятся в рабстве. Но в те дни, о которых я пишу, лоцман на Миссисипи рабства не знал».

Понятно, что лоцман тут это реальный пролагатель речных путей, знаток маяков и буев, Марк Твен и сам водил суда по Миссисипи — отсюда, как известно, и псевдоним. Но еще больше лоцман — это мифологическая фигура, образ свободы. Свободы, осуществленной во всей ее полноте. Ладно, короли, парламентарии, журналисты, даже писатели — допустим, Марк Твен прав, допустим, все они люди зависимые (уж депутаты и газетчики — точно), но ведь подписчики и паства, «каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок» — это, собственно, кто? Это — народ. Выходит, и народ не свободен? Получается, так. Получается, свобода — это лишь эфир, идеал, мечта. Или, скажем, путь, указываемый Лоцманом.

Примерно через полтора века после Марка Твена по Америке путешествовал, Америку пересек, как некогда пионеры, с востока на запад, человек совершенно иного воспитания и культуры, изощренного спекулятивного ума, один из мэтров европейского постструктурализма Жак Бодриар. Итогом этого путешествия стал трехчастный очерковый цикл, который так и называется — «Америка». Удивительным образом сторонний, да к тому же специфически постмодернистский взгляд на Америку совпал со взглядом туземным и наивно-реалистическим. Река под пером автора «Америки» трансформируется в пустыню и в то, что здесь называется freeway, ну так ведь сколько лет прошло, сколько дорог в Америке понастроили, а по сути речь идет об одном и том же. Вообще-то это слово означает просто «магистраль», или «скоростная автострада» и в этом смысле ничем не отличается от highway или motorway. Но не зря Бодриар останавливается именно на этом варианте. В последних двух имеются в виду лишь покрытие и допустимый скоростной режим, а в первом — нечто куда более значительное, так что, как нечасто бывает, более точен буквальный перевод — «свободный путь». Или даже «путь свободы». Иное дело, что за минувшие времена на этом пути, нарушив его чистоту, образовались культурные и социальные наносы. Сквозь них-то пылливый европеец и стремится проникнуть в суть, и наблюдения его порой кажутся мне настолько верными, что хочется просто их привести, не загромождая никакими комментариями.

«В сущности, Соединенные Штаты со своим правительством, со своей чрезвычайной технологической изощренностью и простодушием — единственное реально существующее первобытное общество, все очарование которого состоит в том, что по Америке можно путешествовать, как по первобытному обществу будущего».

Нет, все же от замечания на полях не удержусь: если прав Тютчев и умом Россию действительно не понять, то и Америку — тоже.

А теперь — теза: «Америка — не сновидение, не реальность, она — гипер-реальность¹, ибо представляет собой утопию, которая с самого начала переживается как воплощенность».

Иными словами, Америка подобна улыбке Чеширского кота: кот ушел, а улыбка осталась.

Любовь американца к своей стране или, если угодно, американский патриотизм — это на самом деле любовь не к стране (а уж о государстве и говорить не приходится, там не любовь, там либо равнодушие, либо откровенная неприязнь), но влюбленность

¹ Наверное, все же надо пояснить: под «гиперреальностью» Бодриар понимает замену реального «знаками реального», миром моделей — симулякров, не имеющих опоры в реальности, но воспринимаемых даже реальнее, чем сама реальность.

в свое о ней представление — это, опять-таки по Тютчеву, безотчетная вера в нее. И, между прочим, стихийность такой веры поразительным образом запечатлелась документально. В Конституции США есть слово *people* — «народ», но нет слов *nation*, *national* в смысле «государство», «государственный» и т.д. Положим, в таком словоупотреблении, вернее, в отказе от некоторых слов и понятий, был ясный рациональный умысел. Колонии необыкновенно дорожили своей автономией и, объединяясь в союз, боялись потерять хоть толику. Род-Айленд, например, провозгласивший независимость от метрополии на два месяца раньше других, решил даже не посылать своих делегатов в Филадельфию и ратифицировал принятую там Конституцию лишь в 1790 году. И все же резоны есть резоны, политика есть политика, но выше нее метафизика, тоже, впрочем, ищущая и иногда находящая понятийное выражение. В тексте Конституции на месте слов с корнем *nation* стоит *federation*, и за указанием на способ государственного устройства здесь мерцает иной, куда более глубокий и долговременный смысл — XVIII век читал и понимал латинское слово *fides* в его оригинальном значении — вера, доверие.

Американский патриотизм — «патриотизм горизонта».

Как всегда, это лучше других понимают поэты.

Человек гнался за горизонтом,
Горизонт от него ускользал.
Я увидел, встревожился
И сказал человеку:
— Это немислимо.
Ты никогда...
— Врешь! — крикнул он
И продолжил погоню.

(Стивен Крейн. Перевод А.Сергеева)

2

Ну, а в России патриотизм — это даже не просто, как нам веско разъясняют с высоких трибун, национальная *идея*. Патриотизм — это политика. Патриотизм — это государственное *предприятие*. Патриотизм — это долговременная стратегия, основанная на целом ряде акций как духоподъемного, так и законотворческого свойства.

Арена может быть любая, начнем со спортивной, тем более что, понятное дело, она предоставляет, по самой своей феноменологии, чрезвычайно удобные возможности для демонстрации патриотических чувств и их внедрения в общественное сознание. Когда-то барон Пьер де Кубертен, возможно, предчувствуя будущие угрозы, остерегал: на олимпиадах соревнуются не страны и даже не команды, соревнуются атлеты, и нет нужды, что одного зовут Джон, другого Жан, третьего Иоганн, а четвертого Иван. Увы! Начиная уже с Олимпийских игр в Лондоне (1908) зазвучали государственные гимны, затрепетали на ветру государственные флаги, по овалам стадионов зашагали как раз команды, а с некоторого времени принялись подсчитывать завоеванные ими медали и очки, что окончательно развернуло чистый спорт в сторону грязной политики, ибо за победой на стадионе стали видеть преимущество совсем в другой борьбе. И получается, что уже не сближению людей разной веры и разного цвета кожи служат Игры новой эры, о чем мечтал их создатель, но, напротив, разобщению. Нагнетанию вражды и злобы, как будто их и без того мало на нашей несчастной планете. В конце позапрошлого века романтик-барон писал: «O Sport, tu est la Paix!» Но вышло почти наоборот: «O Sport, tu est la guerre!» Понятно, сами молодые люди, ставящие рекорды, бегущие все быстрее и прыгающие все выше, никакой ответственности за это

печальное превращение не несут. На их славе, на их честной конкуренции наживаются другие.

Явление это повсеместное. Вспоминаю, как, пребывая в городе Нью-Йорке, я включил телевизор, с экрана которого комментатор с огромным энтузиазмом вещал об успехе кого-то из американских атлетов на проходившей в это время очередной олимпиаде. Спортсмена (то ли спортсменку) показывали в самых разных ракурсах и разных интерьерах — на тренировке, дома с родителями, на соревновательной арене, естественно, где-то еще. В конце репортажа выяснилось, что занял герой (или героиня) в своем виде спорта не то 5-е, не то 6-е место. Кто стал чемпионом, узнать так и не удалось, но явно это не был американец (американка).

Мы, впрочем, тоже не отстаем, а то и опережаем. Величественные приемы с их строгим ранжиром: чемпионов и призеров чествуют в Александровском зале Кремля, участников поскромнее — в Малахитовом. Государственные награды, опять-таки с разбором: золотым медалистам — одно, серебряным и бронзовым — другое, а тем, кто вообще ничего не выиграл, — соответственно тоже ничего. А ведь, казалось бы, как давно и как красиво сказано: главное не победа...

Торжественные речи в исполнении высших лиц государства: в тяжелых условиях вы не сдались, отстояли честь родины и так далее. Насчет чести как-то не очень понятно: родина это что, невинная девушка, и кто, собственно, на нее (честь) покушается? Вот в смысле тяжелых условий — чистая правда. Допинги, пробы, суды апелляции, кассации, ВАДА, МОК, КАС — сам черт ногу сломит, голова кругом идет, даже если со стороны посмотреть и послушать, а каково самим спортсменам? Ведь судьбы ломаются, жизнь из колеи выходит, и остается лишь дивиться, как этого то ли не могут, то ли не хотят понять далеко не глупые, казалось бы, люди, призывающие атлетов бойкотировать олимпиаду, коли не разрешат им выступать под флагом Родины, и чествовать в случае победы будут исполнением не российского, а интернационального гимна — кантаты греческого композитора Спироса Самараса на слова его соотечественника Костаса Паламоса. А иначе, мол, вы пятая колонна. В переводе гимна на русский, выполненном Робертом Рождественским к открытию Московской олимпиады 1980 года, есть, в частности, такие слова:

Античности прекрасный дух, ты явись вечной планете
Во славу и во имя всей, всей доброй Земли.

Земли, прошу заметить, а не России или Америки. Но, видно, вирус патриотизма настолько силен и живуч, что поражает, повторяю, даже самые просвещенные умы.

К слову о тяжелых условиях — кто их создает? Не жульничайте, не подчиняйте интересы спорта эгоистическим интересам государства — и не будет никаких тяжелых условий, или, вернее, будут, конечно, будут, но для всех одинаковые — невероятный труд, колоссальные нагрузки, физические и психологические. Когда бы вы, господа патриоты, хоть отдаленное представление имели о том, что это такое — спорт высших достижений, то, верно, не стали бы выступать со своими духоподъемными и, как я подозреваю, не вполне бескорыстными призывами (для ясности: сам-то я, жалкий любитель, да и то в далеком прошлом, тоже это лишь очень смутно себе представляю, но потому советов и не даю).

Ну да ладно.

Торжественные речи звучат в барских палатах, и дорогие подарки преподносятся (там же) нечасто — как правило, раз в четыре года. А патриотическое чувство нуждается в постоянном подогреве. Им занимаются в другом месте, в дворничкой, которую мне лично напоминают телестудии с их многочисленными и якобы дискуссионными программами, именуемыми иностранным словом «ток-шоу». Звон литавр и грохот патриотических барабанов звучат изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год.

Как положено, в слаженном оркестре под управлением (на выбор: Шейнина, Куликова, Бабаяна, но, конечно, прежде всего Владимира Соловьева) имеются солисты. Например, Александр Проханов. Когда-то у него прорезался не сильный, но чистый голос, и он вошел в литературу в составе группы так называемых «сорокалетних». По правде говоря, никакой группы, то есть, направления, объединенного некоторыми общими художественными убеждениями, не было: ну что, право, общего между, допустим, Анатолием Кимом и Русланом Киреевым, Владимиром Личутиным и Владимиром Маканиным? Разве что возраст — все они родились на рубеже 40-х годов и начали печататься примерно в одно время. Но это свой сюжет, а нас интересует только один «сорокалетний» — Проханов. Из обоймы он выпал раньше других, мирный быт русской деревни, описанный в ранней прозе, ему, видно, прискучил, и с лейкой, блокнотом, а то и автоматом Калашникова он принялся перемещаться по горячим, как их тогда называли, точкам планеты: Афганистан, Камбоджа, Ангола, Никарагуа... Возможно, именно на полях этих чужих войн сформировался и окреп уже совсем иной, утративший былой интонационный строй, голос — голос, как говорили в конце 80-х, соловья Генштаба. Но и это лишь этап большого пути — ныне Александр Андреевич певец даже не во стане русских воинов, он — певец России. Патриот с большой буквы. Любое явление и даже любое событие видится ему в свете русской истории. Спорт тут не исключение. Удачное выступление наших атлетов, не помню уж в точности где, то ли в Сочи, то ли в Рио, дает могучий импульс патетическим заклинаниям:

Победа мистического русского духа!

Вглядитесь внимательно: вокруг его (неважно чьей именно. — *Н.А.*) головы образуется какое-то свечение — нимб!

Олимпиада — это война, и даже не между спортсменами, но между государствами и цивилизациями!

Необходимо внедрять в сознание соотечественников уверенность в том, что мы самые честные, лучшие, сильные, пусть даже в этом содержится некоторое преувеличение!

(Это цитаты, но поскольку речь трибуна записывал со слуха, возможны небольшие сбои, потому от кавычек воздерживаюсь, но за точность передачи как смысла, так и стилистики ручаюсь.)

Таким образом, А. Проханов, не называя, правда, имен, дает отлуп всем — от Пьера де Кубертена до Мишеля Монтеня, считавшего, что умирать за отечество можно, но лгать ради него — непозволительно. Оказывается — позволительно, более того — должно. Но ладно, и архитектор современного олимпийского движения, и автор «Опытов» — французы, а француз русскому — не указ. Но Федора-то Ивановича Шалапина хранитель русских устоев Александр Андреевич Проханов почитать должен. А если — надеюсь, — почитает, то и прочитав-перечитать невредно, тем более как хорошо, с достоинством, скромно и покаянно, сказано: «Я терпеть не могу национального бахвальства. Всякий раз, когда я восхищаюсь чем-нибудь русским, мне кажется, что я похож на того самого генерала от инфантерии, который по всякому поводу и без повода говорит:

«— Если я дам турке съесть горшок гречневой каши с маслом, то через три часа этот турка на тротуаре, на глазах у публики, погибнет в страшных судорогах.

— А вы, Ваше Превосходительство, хорошо переносите гречневую кашу?

— Я?! С семилетнего возраста, милостивый государь, перевариваю гвозди!...» («Маска и душа»)

Словом, патриотизм (в идеале, конечно) — чувство, не знающее заносчивости, чувство интимное — нечего вещать о нем граду и миру.

Так то в идеале.

Я снова включаю телевизионный приемник, и на экране проступает картинка:

пятилетние малыши расхаживают по коридорам детсада с георгиевскими ленточками на груди, а на полу в комнате для игр расставлены оловянные танки, пушки повернуты в западном направлении. Ребенком я и сам увлеченно играл со сверстниками в солдатиков, и дома, и в детском саду, и во дворе, но никому из взрослых — о малолетних участниках потешных сражений, естественно, не говорю — и в голову не приходило придавать им идеологический характер и превращать в воспитательное мероприятие. Указом президента в стране проводится комплекс упражнений по подготовке молодежи к труду и обороне (ГТО), одной из целей которого является «воспитание патриотизма». В мои бесконечно далекие школьные годы тоже существовал такой комплекс. Только, помнится, о патриотизме, несмотря на аббревиатуру, никто тогда не хлопотал, а просто 14—15-летние оболтусы в свободное от занятий время (впрочем, допускаю, это было на уроках физкультуры) упражнялись в скорости, ловкости и силе. Потом программа из системы школьного образования, куда ей и дорога, выпала, и вот во благовремение возродилась.

Короче, патриотическое воспитание приобретает явно милитаристский оттенок. Иное дело, что не всегда просвещение приносит ожидаемые плоды. Например, несколько лет назад один гимназист из Нового Уренгоя выступил в немецком бундестаге. Произошло это 19 ноября, в День скорби, когда в Германии оплакивают жертв войн и государственного насилия. Завершая свое выступление, подросток вспомнил слова Отто фон Бисмарка: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». И закончил уже от себя: «Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн». Что, казалось бы, в такой надежде дурного, пусть даже, скорее всего, Бисмарка молодой человек не сам вспомнил, а ему напомнили, и пусть даже заключительную фразу тоже отредактировал кто-то из старших. Но боже мой, какая волна гнева прокатилась по всей стране: кого воспитывают?! Пацифистов? Чему учат? Позор! Надругательство над памятью советских воинов, павших на Отечественной войне! Девятый вал накрыл стены парламента: один член верхней палаты потребовал расследовать постановку школьного обучения в Ямало-Ненецком национальном округе, его коллеги из палаты нижней собрались по такому вопиющему случаю обратиться в прокуратуру России, кто-то даже напомнил, что по российскому законодательству уголовная ответственность наступает в 16 лет. А в кодексе есть статья, предусматривающая наказание за измену Родине.

Помню, по ходу всей этой вакханалии мне пришла в голову лежащая на поверхности аналогия. За три года до описываемых событий, 27 января 2014 года, в тех же стенах, на Часе памяти, посвященном годовщине освобождения Освенцима, выступил другой россиянин, и по ходу выступления вспомнил, между прочим, более раннюю свою поездку в Германию, когда его попросили сказать, что он чувствует, оказавшись на земле вчерашнего врага. «Для меня, — ответил он, — это встреча промахнувшихся, они столько раз стреляли в меня и промахнулись, и я стрелял в них, и тоже промахнулся».

Вот я и подумал, что же в тот-то раз нынешние обличители молодого человека промолчали? Не потому ли, что клеймить безвестного шестнадцатилетнего подростка и его наставников как-то способнее, чем 95-летнего ветерана войны и европейски знаменитого писателя Даниила Александровича Гранина? — а, понятно, это о нем речь, это он тогда, не присев ни на минуту, держал часовую речь перед депутатами бундестага. Да, злословить остереглись, но про себя, возможно, подумали: что в вас, Даниил Александрович, не попали, это, конечно, очень хорошо, а вот вам бы получше целиться следовало.

Нужно, впрочем, отдать должное высшей власти: устами пресс-секретаря Президента Кремль тогда одернул вошедших в державный раж законодателей, а также

подтанцовку: успокойтесь, мол, уважаемые, к чему такие страсти, прекратите травлю подростка. Ну они быстро и присмирели.

Но время сейчас бежит быстро, ситуация меняется на глазах, и вот я уже слышу отголоски того вселенского шума, что порожден был выступлением Коли Десятниченко в бундестаге (узнать бы, как складывается судьба мальчика, как перенес он хулу и преследования). И мелькает еще одна догадка: уж не оно ли, это выступление, стимулировало, хотя бы отчасти, проведение уроков патриотического воспитания в школах и военные игры в детских садах? Чтобы воспитанники и учащиеся, когда повзрослеют, правильно говорили, а главное, правильно думали. Возможно, этому будет способствовать разбивка многочисленных военно-патриотических парков, а также недавнее и столь долго ожидавшееся открытие «Острова мечты» — некоего аналога разбросанных по всему свету диснейлендов. А он-то, спросите вы, с какого тут бока? Очень просто: если, положим, у входа в Disneyland города Анахайм, штат Калифорния, или у входа в Disneyland городка Марн-ла-Вале, в нескольких десятках километрах от Парижа, детей встречают Микки Маус или Доналд Дак, то на Острове мечты перед ними вырастает боец Росгвардии (говорят, правда, это только в день открытия, потому что его почтил своим присутствием президент страны; дай-то бог, если это правда). К слову сказать, по этому поводу участники очередного ток-шоу затеяли спор: каким персонажам здесь место — Санта-Клаусу или Деду Морозу, русской девочке Маше в компании русского Мишки или английскому мальчику Кристоферу Робину и английскому же медвежонку Винни Пуху? Ну что за вздор, какая разница — лишь бы детям было весело. Выходит, разница есть: преданность Отечеству должна сказываться во всем и прививаться смолоду. Мелочей в этом важнейшем государственном деле не бывает. Прогулка на остров — не просто развлечение, но воспитательное мероприятие.

Так складывается система. А системе нужны реперные точки: инструкции, указы, законы. И они выпускаются и принимаются или, как минимум, обсуждаются. Некоторое время назад в парламент был внесен проект Федерального Закона № 315234 «О патриотическом воспитании в Российской Федерации». Таким образом, любовь к Родине, каковая и есть в буквальном переводе патриотизм, приобретает статус термина, требующего, как и любой термин, ясного толкования. Вот как оно звучит: патриотизм — это «любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинять им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества».

Лично мне непонятно, почему интересы индивида противопоставляются интересам народа, ведь кроме как из интересов первого последнему просто не из чего складываться, но положим так. И вот, если так, неужели столь высокие чувства и порывы могут *воспитываться*? И проявление оных закрепляться государственным актом? А непоявление, напротив, каким-то образом караться, как карается нарушение любого иного закона? Но ведь это то же самое, что законодательно фиксировать необходимость любви ребенка к своей матери, а матери к своему ребенку.

Проект, как свидетельствуют официальные источники, ушел на доработку и уж года три как дорабатывается. Допускаю, впрочем, что теперь он утратил актуальность, ибо уже не просто закон, а закон высший — конституция страны, согласно вновь принятой поправке, вменяет государству в обязанность «воспитывать (в детях) патриотизм, гражданственность и уважение к старшим».

Словом, как остроумно заметил журналист Александр Минкин, в стране законодательно вводится «режим патриотизма».

Пусть прав Шекспир, вернее, тот персонаж комедии «Как вам это понравится», который сказал: «Весь мир театр, и люди в нем актеры». Но почему это должен быть непременно театр абсурда?

3

Из всего сказанного выше можно, как будто, заключить, что американский патриотизм «лучше» российского.

Спешу объяснить. Природное, не нуждающееся в воспитательных мерах чувство мне действительно ближе, чем культивация преданности, и тем более любви. И мне действительно кажется, что кукловоду-государству лучше бы держаться подальше от частных дел и от интимных переживаний людей. А любовь к отеческим гробам, могу лишь повторить, — чувство заветное. Private property, no trespassing (уместно пояснить, что семантически «частная собственность» это не только материя — дом и земельный участок, но и личное духовное пространство). Однако же из этого совершенно не следует, будто, в отличие от нашего, американский патриотизм благодатен и достоин подражания.

Задолго до Александра Андреевича Проханова, призывавшего, как мы помним, восславлять свое отечество и его граждан в любом случае, с тем же пафосом и в том же смысле высказался Стивен Декатер, видный американский флотоводец, чьими доблестью и воинским умением восхищался сам сэра Горацио Нельсон. В 1815 году Декатер, потопив в ходе 2-й Берберийской войны флагман алжирского флота и вынудив тем самым дея подписать мирное соглашение с США, вернулся в Нью-Йорк, где в его честь был устроен торжественный прием. Бенефициант провозгласил тост: «За нашу страну! Пусть в отношениях с иноземными нациями правда всегда будет на ее стороне; но в любом случае это наша страна, права она или нет!»

Как известно, фраза эта сделалась афоризмом, повторялась на английском — *my country, right or wrong* — и иных языках бесчисленное число раз, естественно, во славу отечества, хотя звучали и отрезвляющие голоса. Так в 1901 году мудрый Честертон заметил: «Моя страна, права она или нет — это то, чего не скажет ни один патриот, разве что в крайнем случае. Потому что это то же самое что сказать: “Это моя мать, будь она пьяна или трезва”». Но такие голоса тонули в патриотической риторике.

К слову сказать, в обращении с афоризмами нужна известная осторожность. Вот один из них: «Патриотизм — последнее прибежище негодяев». Его у нас часто повторяли в 90-е годы, путая при этом происхождение: «Как любил говорить Лев Толстой...» Потом, правда, разобрались — действительно любил, и даже включил в «Круг чтения», но ссылаясь на первоисточник. Фразу эту бросил, выступая 7 апреля 1775 года на собрании им же, вместе с единомышленниками, основанного лондонского Литературного клуба Сэмюэл Джонсон. Впоследствии афоризм толковался самым различным образом — то как свирепый выпад против патриотизма как такового, то, напротив, как его же, патриотического чувства, обожествление; будто бы почтенный доктор хотел сказать: если это чувство живет даже в груди самого последнего из негодяев, то оно и его способно от негодяйства излечить. Ну, это уж, в основном, вклад наших отечественных публицистов — профессиональных патриотов. На самом же деле все было просто. Разумеется, никаким антипатриотом Сэмюэл Джонсон не был, он даже само это слово — «патриот» — часто писал с большой буквы, а в своем толковом словаре определил патриота как человека, которым «движет страстное чувство любви к родной стране» (правда, в очередном переиздании оговорил, что это слово «также используется для фракционных нападков на правительство»). Откуда же тогда «негодяй»? Ну, во-первых, употребленное им слово *scoundrel*, имея в виду стилистику всей речи, а также аудиторию, которой она была адресована, точнее, мне кажется, было бы перевести иначе — «прохвост». Но не в том суть. Сын бедного книготорговца из Стаффордшира, сделавшийся выдающимся ученым-филологом и первым, как считали современники, поэтом своего времени, Сэмюэл Джонсон был помимо всего прочего пылким общественником и активным участником политической борьбы своего

времени. Убежденный тори, он страстно ненавидел либералов — сторонников предоставления независимости английским колониям в Северной Америке, но более всего — вигов. Они-то в его соображении и были негодьями или все же, скорее, повторяю, прохвостами, прикрывающими свои низменные цели белоснежными ризами патриотизма.

Словом, партийцы из «Единой России», а также их якобы оппоненты из иных думских фракций должны видеть в докторе Сэмюэле Джонсоне единомышленника. Но тут наступает самый патетический момент.

Хорошо, англичанин на патриотизм не покушается, но граф-то Лев Николаевич Толстой считает его как раз антипатриотом и, более того, всячески в этом умонастроении поддерживает.

Правда, однажды я (как, надо полагать, миллионы телезрителей) стал свидетелем одной занятной сцены. Разыгралась она все там же — в студии Владимира Соловьева. Речь зашла об интересующем нас предмете, и кто-то из участников спектакля заметил, что Толстому «зачем-то» понадобилось перевернуть смысл известного высказывания «одного англичанина». Закавыченные слова (а за верность их ручаюсь), конечно, трогают до глубины души, но пренебрежительным тоном пренебрежем, тем более что по сути сказано верно — смысл действительно перевернут.

Но тут сильно заволновался ведущий. Заволновался и бросился на защиту автора «Войны и мира»: Толстой, говорит, вовсе не против патриотизма, он против национализма. Понять можно — одно дело глумиться над опереточными персонажами, которые, видно, чтобы сыграть роль рыжих клоунов, в студию и приглашаются, и совсем иное — общение с великими. Их в обиду давать нельзя — даже, как в данном случае, единомышленникам.

Но гении в защите не нуждаются, и уж их точно на мякине не проведешь. Будто предвидя поползновения в этом роде (а также отвечая на уже прозвучавшие возражения), автор статьи «Патриотизм и правительство» внятно разъяснил: «Мне уже несколько раз пришлось высказывать мысль, что патриотизм в наше время есть чувство неестественное, неразумное, вредное, приносящее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть *воспитываемо* (выделено мною. — *Н.А.*), как это делается теперь, — а, напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей средствами. Но удивительное дело... все мои доводы встречают до сих пор молчанием или умышленным непониманием, или еще всегда одним и тем же странным возражением: говорится, что вреден только дурной патриотизм, джингоизм, шовинизм, но что настоящий, хороший патриотизм есть очень возвышенное нравственное чувство... О том же, в чем состоит этот настоящий, хороший патриотизм, или вовсе не говорится, или вместо объяснения произносятся напыщенные, выпренные фразы».

Написано ровно 120 лет назад, а кажется — сегодня, да и с перспективой на будущее, неизвестно насколько от нынешнего дня удаленное.

А еще за шесть лет до того Толстой написал другую статью, «Христианство и патриотизм», где высказывается еще резче: «То, что называется патриотизмом в наше время, есть только, с одной стороны, известное настроение, постоянно производимое и поддерживаемое в народах силой, религией, подкупной прессой в нужном для правительства направлении, с другой, временное, производимое впечатлением на низших по нравственному и умственному даже уровню людей народа, которое выдается потом за постоянное выражение воли всего народа».

«Патриотизм есть не что иное, как признание своего народа и государства высшей по отношению к другим ценностью, и потому — чувство не высокое и безнравственное».

«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей как орудие для достижения властолюбивых и корыстных

целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедует везде, где проповедует патриотизм.

Патриотизм есть рабство».

Звучит убийственно, но кто я такой, чтобы спорить с гениями? Им можно только внимать, а уж соглашаться, не соглашаться — это только про себя.

Дмитрий Сергеевич Лихачев поближе, тем более что, не будучи знаком коротко, я с ним не раз встречался, порой даже в обстановке почти домашней. Но все-таки и от него отделяет дистанция слишком большого размера. Так что спущусь я под конец на землю.

В «Филиале», одной из лучших, на мой вкус, вещей Сергея Довлатова, есть диалог (героя-повествователя с дочерью), выбивающийся, как мне кажется, из общей стилистики повествования — многовато пафоса, пусть даже иронически смягченного. Вот отрывок из него:

«— ...Катя!

— Ну что?

— Я хочу сказать тебе одну вещь.

— Только покороче.

— ...Вот слушай. Ты, конечно, думаешь, что я обыкновенный жалкий эмигрант. Неудачник с претензиями. Как говорится, из бывших...

— Ну вот, опять... Зачем ты это говоришь?

— Знаешь, кто я такой на самом деле?

— Ну, кто? — спросила дочь, чуть заметно раздражаясь.

— Сейчас узнаешь.

— Ну?

Я сделал паузу и торжественно выговорил:

— Я... Слушай меня внимательно... Я — чемпион Америки. Знаешь, по какому виду спорта?

— О господи... Ну, по какому?

— Я — чемпион Америки... Чемпион Соединенных Штатов Америки — по любви к тебе!..»

А вот еще один диалог, вернее, самый конец разговора, который у меня случился с давно уже ушедшим из жизни талантливый литературный критиком и добрым моим, несмотря на кардинальные разногласия как в эстетических вкусах, так и в гражданских предпочтениях, товарищем.

— Но ты же патриот?! — устало спросил он, государственник и поклонник классического письма (что бы под ним ни подразумевалось), меня — либерала и любителя письма модернистского (что бы опять-таки под ним ни подразумевалось).

— Да нет, — тоже утомившись бесплодным спором, покачал головой я.

— А кто же ты в таком случае? — потрясенно выговорил он.

— Космополит, — сказал я и тут же со стыдом прикусил язык.

Дело даже не в том, что пафоса в таком ответе было даже не многовато, как в вымышленном диалоге из «Филиала», а неприлично много. Дело в том, что до самочувствия гражданина мира (а это и есть космополит), о котором говорит Дмитрий Сергеевич Лихачев, мне еще расти и расти. А теперь уж, учитывая годы, и не дорасти. А вот пусть не чемпионом, пусть просто человеком, который предан своим близким и друзьям, стать, хотелось бы надеяться, удалось.

Нет, страшно выговорить, но великий старец все же заблуждался: хороший патриотизм существует.

Патриот — это хороший семьянин и хороший друг.

Все остальное — пышная и небезобидная риторика.

P.P.S. Когда я уже дописывал этот пространный постскрипtum к прошлогодней публикации, в Миннеаполисе офицер местного полицейского управления задушил при задержании темнокожего, что вызвало волну протестов, быстро перехлестнувшую границы города и штата, а далее накрывшую всю страну. Такие печальные эпизоды в истории страны, увы, не новость, но на сей раз случился, как выяснилось, не просто мгновенный взрыв и не просто извержение вулкана, после которого лава быстро застывает и жизнь входит в свою привычную колею. Началась и продолжается настоящая вакханалия, безумный хэппенинг не выказывает признаков угасания. Я звоню и пишу письма своим друзьям и просто знакомым в Америке — людям, как правило, из академической среды и, как правило, либералам по своим воззрениям, и задаю один и тот же детский вопрос: почему? Да, конечно, убийство есть убийство, полицейский произвол и жестокость, особенно по отношению к человеку, принадлежащему расе, веками пребывавшей в угнетении, пусть даже он совсем не ангел во плоти, отвратителен и неприемлем, но разве это причина для того, чтобы глумиться над собственной историей и являть себя миру в неприлично-шутовском обличье? А как еще можно назвать запрет на просмотр «Унесенных ветров» или переименование одного из старейших футбольных клубов Америки Washington Redskins? Остается изъять из библиотек пенталогию Купера, в ней ведь тоже индейцы, а уж как рассматривать их портреты — дело вкуса, а вкусы ныне явно повредились. И еще один, столь же наивный вопрос: доколе? Ответа нет — корреспонденты мои лишь сокрушенно пожимают плечами.

Я не верю в американский Апокалипсис. Я не верю, что Америке конец (кирдык, как любят изъясняться наиболее просвещенные из тех экспертов, чьи обличительные речи потоком льются с телеэкранов), что она утратила ценностные опоры и, стало быть, энергию движения или, лучше по Толстому сказать, энергию заблуждения. Горизонт не денется никуда. И навсегда останется и никогда не осуществится Мечта, ибо что такое Мечта осуществленная? Просто общее место.

Наверное, в близком будущем что-нибудь произойдет — реформа полиции, реформа образования, реформа давно устаревшей системы выборов, да мало ли что! Более того, не оставляет ощущение, что происходящее — это во многом обычные партийные склоки, правда, в крайне опасной форме, а после 4 ноября пыль оседет, витрины магазинов застеклят, может, памятники восстановят. Но это именно ощущение, ведь, пусть это и не гео-, пусть просто политика, а я и про нее, не устану повторять, ничего не знаю, да и знать не хочу. И именно поэтому легко могу ошибаться. И тогда что? Все мои рассуждения об особенностях американского патриотизма беспочвенны? Или нет, не так, может, почва под ними и есть, да только патриотизм такой саморазрушителен?

Не знаю.